

К. В. Анисимов
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАНОН
И ОСКОЛКИ ИМПЕРСКОГО НАРРАТИВА В НАЧАЛЕ XX в.
(случай И. А. Бунина)*

Литературный канон, наряду с выполнением важного внутрикультурного задания, заключавшегося в суверенизации в «модерную» эпоху литературной деятельности как таковой, а также в дистанцировании от «основных источников власти и авторитета» — «двора, аристократии, церкви»,¹ оказывался, будучи эстетической вариацией универсалистской идеи нормативности, удобным инструментом для трансляции ценностей и символов, с которыми ассоциировала себя правящая элита. Стандартизация и унификация культурного пространства, сделавшиеся одними из ключевых черт русского национального проекта рубежа XIX–XX вв.,² со всей необходимостью предопределили создание пантеона отечественных классиков, персональные культы которых, будь то реноме интроверта «гения-романтика» или, наоборот, репутация экстраверта «просветителя», игнорировались и заменялись статусом писателя «для всех» с предоставлением равной позиции каждому внутри группы избранных. Следующее за этим упрощение трактовок их творчества, составление книг для школьного чтения на основе наиболее «ясных» по проблематике произведений со всей отчетливостью свидетельствовали о стремлении власти контролировать поле литературы — если не в его текущем и непредсказуемом развитии, то хотя бы на уровне мифа об истоках. В этом отношении отнюдь не случайно то обстоятельство, что классика поневоле оказывается «институтом власти», а, как известно, «борьба за канонизацию того

или иного литературного факта... всегда представляет собой более или менее скрытую идеологическую борьбу».³ Более того, своей внутренней структурой, предполагающей жесткое отграничение «сакрального» пространства наивысших ценностей, литературный канон мог напоминать сами властные институты. Как точно отметил Л. Д. Гудков, «классика сама по себе выступает как своеобразный признак имперской организации общества с соответствующей параллелью топки метрополии и провинции».⁴ Империя в этом смысле, будучи опытом «осознания разграничений»,⁵ противостоит интегрирующей установке национального проекта.

Модернизм рубежа веков с его идеей независимости художника от любого внеэстетического нарратива не только не размыл концепцию канона, но и, напротив, «послужил целям концептуализации ранней литературной традиции как целостного корпуса текстов, при этом оппозиция модернизму акцентировала достоинства классики в глазах многих образованных русских».⁶ Впрочем Дж. Брукс справедливо указывает на «зазоры» между государством и литературным канонем, на трудности в отношениях между ними. Слово созданные друг для друга, они сближались неохотно: революционная эпоха вносила свои коррективы в идеальную модель. Так, с готовностью пойдя на всемерное прославление в 1899 г. Пушкина, а в 1902 г. — Гоголя и Жуковского, правительство весьма нервно отреагировало на массовые движения по поводу толстовского юбилея в 1908 г. и в связи со смертью писателя в 1910 г.⁷

Еще одним фактором, привнесшим дестабилизацию в драматичные на уровне своего

¹ Дубин Б. В. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // *Культы как феномен литературного процесса: Автор, текст, читатель*. М., 2011. С. 324.

² См. о нацистроительстве как культурной интеграции: Геллер Э. *Нации и национализм*. М., 1991. С. 126, 127, 129–131, 202, 203.

Анисимов Кирилл Владиславович — д.филол.н., доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Сибирского федерального университета (г. Красноярск)
 E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

* Исследование выполнено в рамках интеграционной программы УрО и СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования»

³ Зенкин С. «Классика» и «современность» // *Литературный пантеон: национальный и зарубежный*. М., 1999. С. 32, 33.

⁴ Гудков Л. Д. Социальные механизмы динамики литературной культуры // *Тыняновский сборник: четвертые тыняновские чтения*. Рига, 1990. С. 128.

⁵ Вульпиус Р. К семантике империи в России XVIII века: понятие поле цивилизации // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. М., 2012. Т. 2. С. 51.

⁶ Brooks J. *Russian Nationalism and Russian Literature: the Canonization of the Classics // Nation and Ideology: essays in Honor of Wayne S. Vucinich*. New York, 1981. P. 316.

⁷ Ibid. P. 322–324.

осуществления, но конструктивно несложные процессы национализации империи и формирования нормативных параметров культуры, в частности в виде пантеона классиков, стало такое качество всей русской интеллектуальной традиции «модерной» эпохи, как ее тотальная историческая укорененность в государственных механизмах.⁸ Доминанта русской «задержанной модернизации» заключалась не в высвобождении молодой нации из пут инородной империи, не в открытии своего «классического» прошлого, откуда извлекаются образцы для новой культуры и черпается легитимирующая ее харизма правопреемства,⁹ а в своеобразном «переименовании» имперского культурного опыта в национально-демократический; изначально элитарного, созданного для нужд просвещенной монархии — в ассоциированный с народной жизнью. Если, по наблюдению А. Эткинды,¹⁰ классические империи Запада были созданы уже сформированными межсословными нациями (и в этом смысле их культуры были одновременно имперскими и национальными), то в России империя пыталась сконструировать нацию с конца XVIII столетия,¹¹ растянув этот процесс на весь XIX век, так его и не завершив, но навсегда утвердив концептуальную взаимосвязь русского имперского проекта прежде всего с цивилизаторской миссией в отношении собственного народа.¹²

В этих условиях важным аспектом литературной жизни становилась борьба разных эстетических групп вокруг понятия элитарности и проекции на него групповых либо индивидуальных представлений о каноне. Парадокс российских культурных реалий заключался в

том, что модернистская суверенизация искусства оказалась спонтанно созвучной раннеимперской тенденции легитимировать государство высокой культурой. В частности, этим можно, вероятно, объяснить напряженное соединение в публицистике В. Я. Брюсова таких различных на первый взгляд тенденций, как нарочитый «империализм» статей о русско-японской войне и изысканный эстетизм его литературной критики. Например, точно идентифицируя романтиков XIX в. как создателей национальных нарративов, мэтр русского символизма показательно объявляет их взгляды местечковыми и — всего за несколько лет до гибели русской монархии — противопоставляет им империю как новое слово в истории. «Эти два течения — еще не иссякшее *националистическое* и новое *империалистическое* — часто скрещиваются и идут наперекор одно другому. Тогда в странах передовых обычно торжествует второе, а в отставших, живущих идеями прошлого, — первое».¹³ Эластичный контур литературного канона в подобных случаях мог вмещать в себя и утверждения «мистики империи», ее «трансцендентной сущности», выступающие «парадигмой» для универсальной, вненациональной классики,¹⁴ и (в случае синтеза универсалистской доктрины с партикулярно-национальной) стилизации народно-низовой культуры. К последнему средству Брюсов прибег, напутствуя русских солдат в Маньчжурии стихотворением «Солдатская». Впрочем в своих теоретических трудах лидер символизма размещал канонический пантеон (в духе главной модернистской идеи независимости искусства) как вне национальных, так и вне социальных границ, неоднократно указывая, что «художник самовластен», а «воспитаны» он и его единомышленники «на одних и тех же книгах» «Ницше, Метерлинка, французских “символистов” от Малларме и Верлена до Вял-ле-Гриффина и Верхарна, д’Аннунцио, а в прошлом — Эдгара По, прерафаэлитов, Бодлера; важнее того, у них у всех был общий “враг” — все отрицавшие самодовлеющее высокое значение искусства и желавшие обратить поэзию в “служанку обществу»».¹⁵

⁸ Из множества имеющихся примеров приведем мысль Лейбница из его переписки с Петром I по поводу основания Академии наук. Лейбниц утверждал, что Россия тем более успешно усвоит предлагаемые им проекты, что в культурном отношении представляет собой пустыню, в которой простор чистого творчества не будет ограничен ничем, кроме воли царя-философа. См.: Гордин М. Становление Санкт-Петербургской Академии наук в контексте развития европейской традиции власти // Российская Академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 242.

⁹ На примере новогреческой культуры этот процесс рассматривается в работе: Jusdanis G. Belated Modernity and Aesthetic Culture. Inventing National Literature. Minneapolis, 1991.

¹⁰ Etkind A. Orientalism Reversed: Russian Literature in the Times of Empires // Modern Intellectual History. 2007. Vol. 4, № 3. P. 622.

¹¹ Инициированные непосредственно Екатериной II первые опыты такого рода относятся, как показала В. Проскурина, к 1780-м гг. См.: Проскурина В. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. С. 204, 205 и др.

¹² См.: Вульпиус Р. Указ. соч. С. 52.

¹³ Брюсов В. Я. Мировое состязание. Политические комментарии 1902–1924. М., 2003. С. 57.

¹⁴ См.: Kermod F. The Classic. Literary Images of Permanence and Change. Cambridge, Mass., 2010. P. 28.

¹⁵ Брюсов В. Я. Среди стихов, 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 49, 482.

Иное дело — И. А. Бунин. Всецело дистанцировавшись от любых форм политического империализма, что особенно заметно в его травелогах, «восточных» стихах и рассказах, он гораздо острее, чем Брюсов, переживал проблематизированный самой эпохой статус элитарного автора. Показателен в этом смысле личный конфликт Брюсова и Бунина, поставивший крест на сотрудничестве последнего с символистами. Обращает на себя внимание то, что оба полемиста выдвигали друг другу, в сущности, одинаковые обвинения — в контрэлитарности и демократизме, которые в глазах Брюсова были рефлексам позитивизма и реализма, а в глазах Бунина — свидетельством массовизации и появления неприемлемого для него типа писателя «из низов». В известной рецензии 1903 г., ознаменовавшей разрыв, Брюсов написал, что «Ив. Бунин принадлежит к числу поэтов, стихи которых охотно печатают редакторы “толстых” журналов. От таких стихов, как известно, требуется или доля “гражданской скорби”, или отсутствие оригинальности и самостоятельной мысли».¹⁶ Собственная настороженность к попыткам превратить словесность в «служанку обществу» закономерно превращалась в полемическое правило, согласно которому у оппонента следовало найти именно то качество, которое отрицалось критиком у самого себя. А поскольку найти у Бунина «гражданскую скорбь» было невозможно, Брюсов выставляет его подражателем, перенимающим «темы парнасцев и первых декадентов».¹⁷

Бунин совершает, в общем, аналогичный ход. В течение всей своей жизни ретроспективно порицая символистов, автор «Жизни Арсеньева» будет характеризовать революционную эпоху как эклектическое перемешивание элитарного и демократического культурно-идеологических «ингредиентов», вследствие чего, с его точки зрения, модернистские претензии дезавуировали сами себя.

«Потом начались триумфы “Шиповника”. Ему и Художественному театру суждено было много способствовать объединению этих двух лагерей. «Шиповник» стал печатать Серафимовича, “Знание” — Бальмонта, Верхарна. Художественный театр соединил Ибсена с Гамсунном, царя Федора с “Дном”, “Чайку” с “Детями Солнца”. Много способствовал этому объеди-

нению и конец 1905 г., когда в газете “Борьба” появился рядом с Горьким Брюсов, рядом с Лениным Бальмонт...”¹⁸

Впрочем во всей своей ясности эта полемическая стратегия была явлена Буниным ранее — в речи на юбилее газеты «Русские ведомости» 6 октября 1913 г., в которой оратор уравнивал «декадента», «символиста», с одной стороны, и «малокультурного» «духовного разночинца» — с другой.¹⁹ При этом в связях с каноном Бунин отказал им совсем: причина исторического разлома виделась ему в том, что «известный уклад русской жизни» и «известная культура» погибли, не успев «создать себе преемницу».²⁰

Итак, элитарность и асоциальность перекодируются обоими оппонентами в вульгарность, социологизм и революционизм.²¹ Канонические образцы при этом либо относятся к неактуальному прошлому (Бунин как «парнасцев»), либо полностью отрицаются.

В потоке этих сходных персональных инвектив нельзя не отметить существенного отличия в позициях полемистов. Так, Брюсов, теоретик высокого искусства как «ключей тайн», не стремился скрывать (правда, уже после 1917 г.) тот факт, что его отец «родился крепостным крестьянином».²² Эстетика канона и личная биография были для него разными категориями: экспериментальная игра жизнетворческими масками в повседневной жизни лишь подтверждала релятивизм отвлеченного образа поэта, каждый день обязанного приносить «священную жертву» искусству. Напротив, бунинская версия канона была принципиально ориентирована на личную биографию, которая, в свою очередь, коренилась в исторической жизни сословия, к которому Бунин принадлежал. Аристократические обертоты бытового поведения писателя не раз отмечались современниками: Бунину, стремившемуся, как показал Д. Риникер,²³ «пе-

¹⁸ См.: Бунин И. А. Собрание сочинений: в 11 т. Берлин, 1936. Т. 1. С. 68, 69.

¹⁹ Бунин И. А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 611.

²⁰ Там же. С. 610, 611.

²¹ Показательна позднейшая реплика Бунина, сказанная при чтении стихов Блока и адресованная уже умершему поэту: «Лакей с лютней, выйди вон!» (Кузнецова Г. Грасский дневник. СПб., 2009. С. 38).

²² Брюсов В. Я. Среди стихов... С. 574.

²³ Риникер Д. «Литература последних годов — не прогрессивное, а регрессивное явление во всех отношениях...» Иван Бунин в русской периодической печати (1902–1917) // И. А. Бунин. Новые материалы. Вып. I. М., 2004. С. 423, 424; Риникер Д. Подражание — пародия — интертекст: Достоев-

¹⁶ Там же. С. 70.

¹⁷ Там же.

реписать» свою вполне демократическую биографию в терминах социальной избранности и власти,²⁴ пришлось выслушать немало упреков после своего выступления на юбилее «Русских ведомостей». Так, М. П. Арцыбашев подметил, что Буниным руководила «кастовая непримиримость», в то время как «талант, идейность, ум и проч. не составляют привилегии дворянского сословия».²⁵ Защищаясь, Бунин призвал «бросить эту басню о... “дворянстве”».²⁶ В проанализированной С. Н. Морозовым дискуссии (его анализ завершается точным выводом об «одиночестве и обособленности Бунина как в художественном творчестве, так и в критике»²⁷) отчетливо не совпадают планы выражаемого и подразумеваемого: собственно, болезненная реакция Арцыбашева была инспирирована недвусмысленно элитаристским «посланием» юбилейной речи, «отлучением» от идеального канона, в сущности, всех, кто, на взгляд Бунина, не соответствовал его высоким критериям.

Бунинская версия социогенеза классики, согласно которой классика органично произрастала из «известного уклада» русской жизни, уклада очевидно дворянского (примеры самодеятельной народной литературы развенчаны Буниным в «Деревне»; скепсис в отношении фольклора стал впоследствии предметом вдумчивого анализа²⁸), противоречила как официозной программе формирования пантеона национальных классиков, так и волюнтаризму модернистских интерпретаций, выразившемуся, в частности, в традиции тиражировать «моих Пушкиных».²⁹

Культура ставилась писателем в зависимость от факта рождения. «Чуть не все большие писатели родились поблизости, в нашем

ский в творчестве Бунина // Достоевский и русское зарубежье XX века. СПб., 2008. С. 178–180.

²⁴ Что является примером привлекательности поля литературы прежде всего для социально ущемленных агентов, подобных «разорившимся или выродившимся аристократам, представителям угнетенных меньшинств» и пр. Согласно П. Бурдые, литературная среда обеспечивает игрокам этого типа социальную компенсацию и ревалоризацию. См.: Бурдые П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 33.

²⁵ Морозов С. Н. И. А. Бунин — литературный критик: дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. С. 56.

²⁶ Цит. по: Там же. С. 57.

²⁷ Там же. С. 58.

²⁸ См.: Азадовский М. К. Фольклоризм И. А. Бунина (вступ. заметки Т. Г. Ивановой, публ. К. М. Азадовского) // Русская литература. 2010. № 4. С. 126–148.

²⁹ Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 19–51.

быту, в нашем сословии».³⁰ Особое значение Бунин придавал самопроекции на Жуковско-го, Пушкина и Толстого. Но если Жуковский и Толстой включались в персональный миф действительно не без оснований — учитывая фамильную связь с первым и личное знакомство со вторым (с Толстым, кроме того, был знаком и отец Бунина), то апроприация Пушкина ввиду отсутствия непосредственной семейной преемственности устанавливалась через социальные и отчасти топографические коды.³¹ 22 декабря 1928 г. Г. Кузнецова записала страстную эскападу писателя: «Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич... входит в сени... в свою комнату, распахивает окно <...> Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»³² Эта тирада ярко контрастирует с отстраненной объективистской установкой Брюсова в «Моём Пушкине»: «Нам трудно представить себе Пушкина, как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. <...> Между Пушкиным и нами поставлено слишком много увеличительных стекол — так много, что через них почти ничего не видно».³³ Перед нами словно реплики заочного диалога. Позднее в статье «Думая о Пушкине» (1926) Бунин вновь вспомнил своего противника: «Вот я собираюсь на охоту — “и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?”. Вот зимний вечер, вьюга — и разве “буря мглою небо кроет” звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве?»³⁴ В глазах Бунина уроженец Цветного бульвара, живший «в доме своего отца, торговца пробками»,³⁵ от Пушкина был неизмеримо далек. Понимание канона в такой ретроспективе тяготело не просто к идее наследования, но к отчетливому династизму. При этом социальная среда, породившая классика, объявлялась исчезнувшей: данное обстоятельство автоматически сообщало Бунину харизму последнего ее представителя и в этом качестве резко противопоставляло его современни-

³⁰ Бунин И. А. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 1. С. 18, 19.

³¹ См. о дальнем родстве Буниных и Пушкиных: Бабореко А. К. Бунин: Жизнеописание. М., 2004. С. 10.

³² Кузнецова Г. Указ. соч. С. 111.

³³ Брюсов В. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929. С. 9.

³⁴ Бунин И. А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. С. 621, 622.

³⁵ Он же. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 1. С. 51.

кам.³⁶ Если в рамках русского имперского проекта власть представляла себя в «высоком» контексте античных аллегорий, а затем в ходе трансформации имперского проекта в национальный оправдывала свое бытие «не просвещением и общим благом (просвещенностью монарха, стремящегося к общему благу), а национальной волей»,³⁷ заставлявшей ставить рядом с царем символическую фигуру мужика (ср. популярные в первой половине XIX в. сюжеты о Ермаке и Иване Сусанине), то в предлагаемой Буниным концепции власть вообще

устранялась как значимая социальная категория, а заменяющая ее фигура последнего носителя элитарной традиции замыкала историю канона на себе самой. Символические статусы Бунина-академика, а позднее — Нобелевского лауреата были принципиальными аргументами в формировании этой позиции. Сценарий национальной культурной интеграции сменялся в данном случае имперской дифференциацией — в виде литературного канона, обретающего отчетливо индивидуально-биографический характер.

Ключевые слова: *И. А. Бунин, литературный канон, писательская критика, символизм, империя*

Kirill V. Anisimov

Doctor of Philological Science, Siberian Federal University (Russia, Krasnoyarsk)

E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

LITERARY CANON AND FRAGMENTS OF IMPERIAL NARRATIVE IN THE EARLY 20TH CENTURY (the case of I. A. Bunin)

Based on the literary critique, aesthetic manifestos, debates on the literary canon in the Russian Silver Age literature the author attempts a reconstruction of the historico-political aspect of the literary discussions, their implicit correlation with the subject of the Empire as an historical form of high culture legitimization.

Key words: *Ivan Bunin, literary canon, writers' journalism, empire*

REFERENCES FOR CITATION DATABASE

Azadovskiy M. K. *Russkaya literatura* (Russian literature), 2010, № 4, pp. 126–148. (in Russ.).

Baboreko A. K. Moscow: Molodaya gvardiya, 2004, 457 p. (in Russ.).

Brooks J. *Nation and Ideology: essays in Honor of Wayne S. Vucinich: collected papers*. New York: Distributed by Columbia Univ. Press, 1981, pp. 315–334. (in English).

Bryusov V. Moscow: Airo-XX, 2003, 223 p. (in Russ.).

Bryusov V. Moscow: Sovetskiy pisatel, 1990, 714 p. (in Russ.).

Bryusov V. Moscow; Leningrad: GIZ, 1929, 319 p. (in Russ.).

Bunin I. A. Berlin: Izd-vo "Petropolis", Vol. 1, 1936, pp. 9–69. (in Russ.).

Bunin I. A. Moscow: Khudozhestvennaya literature, Vol. 6, 1988, 719 p. (in Russ.).

Burde P. *Novoe literaturnoe obozrenie* (New Literary Review), 2000, № 45, pp. 22–87. (in Russ.).

³⁶ Отмеченное О. В. Сливичкой бунинское неверие в коммуникативное предназначение искусства, которое, согласно воззрениям писателя, не «соединяет людей друг с другом», а направляет их «от таинственных высот к таинственным глубинам» (Сливичкая О. В. «Что такое искусство?» (Бунинский ответ на толстовский вопрос) // *Русская литература*. 1998. № 1. С. 46), является эстетической транскрипцией описанного социального самоощущения.

³⁷ Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // *Новое литературное обозрение*. 2008. № 91 (3). С. 114.

- Dubin B. V. *Kult kak fenomen literaturnogo protsessa: Avtor, tekst, chitatel: sb. nauch. tr.* (Cult as a phenomenon of the literary process: Author, text, reader: collected papers). Moscow: IMLI RAN, 2011, pp. 324–330. (in Russ.).
- Etkind A. *Modern Intellectual History*, 2007, Vol. 4, № 3, pp. 617–628. (in English).
- Gellner E. Moscow: Progress, 1991, 320 p. (in Russ.).
- Gordin M. *Rossiyskaya Akademiya nauk: 275 let sluzheniya Rossii: sb. nauch. tr.* (The Russian Academy of Sciences: 275 years of service to Russia: collected papers). Moscow: Yanus-K, 1999, pp. 238–258. (in Russ.).
- Gudkov L. D. *Tynyanovskiy sbornik: chetvertye tynyanovskiy chteniya* (Tynianov collection: Tynianov fourth reading). Riga: Zinatne, 1990, pp. 120–132. (in Russ.).
- Jusdanis G. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1991, 207 p. (in English).
- Kermode F. Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 2010, 141 p. (in English).
- Kuznetsova G. St. Petersburg: Mir, 2009, 496 p. (in Russ.).
- Morozov S. N. *I. A. Bunin — literaturnyy kritik: Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskikh nauk* (I. A. Bunin — the literary critic. Dissertation for the degree of Candidate of Philology). Moscow, 2002, 207 p. (in Russ.).
- Paperno I. *Cultural Mythologies of Russian Modernism. From Golden Age to the Silver Age: collected papers*. Berkeley; Los Angeles; Oxford: Univ. of California press, 1992. pp. 19–51. (in Russ.).
- Proskurina V. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006, 328 p. (in Russ.).
- Riniker D. *Dostoevskiy i russkoe zarubezhe XX veka: sb. nauch. tr.* (Dostoevsky and the Russian Diaspora XX century: collected papers). Moscow: Dmitriy Bulanin, 2008, pp. 170–211. (in Russ.).
- Riniker D. *Ivan Bunin v russkoy periodicheskoy pechati (1902–1917)* (Ivan Bunin, a Russian periodical press (1902–1917)). Moscow: Russkiy put, Issue I, 2004, pp. 402–563. (in Russ.).
- Slivitskaya O. V. *Russkaya literature* (Russian literature), 1998, № 1, pp. 44–53. (in Russ.).
- Vulpus R. *Ponyatiya o Rossii: sb. nauch. tr.* (Notions about Russia: collected papers). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, Vol. 2, 2012, pp. 50–70. (in Russ.).
- Zenkin S. *Literaturnyy panteon: natsionalnyy i zarubezhnyy: sb. nauch. tr.* (Literary pantheon: national and foreign: collected papers). Moscow: Nasledie, 1999, pp. 32–44. (in Russ.).
- Zhivov V. M. *Novoe literaturnoe obozrenie* (New Literary Review), 2008, № 91 (3), pp. 114–140. (in Russ.).